

## ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Зденек Млинарж

### ПЕРЕД МОСКОВСКИМ ТРИБУНАЛОМ

(Отрывок из книги "Холодом веет от Кремля") \*

Я вылетел в Москву через несколько дней после оккупации. Во-первых, находившийся в Москве Дубчек захотел, чтобы я принял участие в переговорах в Кремле, а, во-вторых, меня уполномочило присутствовать на этих переговорах политбюро ЦК КПЧ, избранное на съезде в Высочанах.<sup>1</sup>

В Москву я летел вместе с представителями старого партийного руководства — со Швесткой, Ленартом, Якешем, Барбиреком и Риго. Кольдер остался в Праге, в оккупированном советскими частями здании ЦК. Антонин Капек где-то скрывался; он тогда, кажется, уехал из Праги. Члены секретариата — Цисарж, Садовский, Славик, Эрбан и Воленик — в Москву приглашены не были, а остальные члены дубчековского руководства КПЧ уже находились в Кремле. Некоторые прибыли в Москву, сопровождая Людвика Свободу, а некоторые накануне переговоров просто получили новый статус — я имею в виду тех, кого силой, как пленных, увезли советские военные самолеты и кого позже держали под охраной гебешников в Карпатских горах, в каких-то засекреченных объектах.

Летели мы в Москву на военном самолете; в нем, кроме нас, было несколько офицеров. Были там еще киноленты в ящиках — заснятые советскими операторами кадры первых оккупационных дней в Праге. Мы сидели молча, говорить было не о чем — каждый знал, как вели себя в первые дни оккупации остальные. И вот 25 августа 1968 года, в воскресенье, около девяти часов утра по московскому времени наш самолет приземлился на Внуковском аэродроме, неподалеку от Москвы. "Чайки" от-

везли нас на Ленинские горы — в правительственные особняки, которые расположены всего лишь в нескольких сотнях метров от московского университета.

После тринадцати лет перерыва я увидел панораму Москвы, которая в студенческие годы была фоном моей повседневной жизни. В Праге эта хорошо знакомая картина ассоциировалась с добрыми для меня студенческими временами. Теперь она снова стала явью. Но я отчетливо помнил, что всего лишь несколько часов полета отделяло меня от оккупированной Праги. Передо мной, в сиянии раннего солнца, лежала Москва, — такая же, как в прошлом; но эту панораму перекрывали картины пражских улиц, на которых со злобеще вытянутыми жерлами пушек стояли танки и солдаты-автоматчики.

На этот раз я был не в Москве своей молодости, а в столице державы-оккупанта. Вместо сокурсников, вокруг вертелись — почтительно, но в то же время настороженно, — сотрудники КГБ, кто в штатском, а кто в мундирах. Абсурдность этих минут проявляла абсурд моего прошлого. Меня охватило страстное желание вообще не быть. Но я жил, и более того, мне предстояло, вместе с другими, думать о том, что станет с нашей страной, какое еще абсурдное решение последует за прежними.

Я прибыл в Кремль. В одном из залов уже собрались сопровождавшие Свободу лица. Но кроме них, там были Черник — на этот раз как председатель правительства, Смрковский, Шпачек и Шимон. Отсутствовали Дубчек, Кригель и Йиндра. Я привез с собой из Праги всевозможные материалы — газеты, листовки, сообщения избранного в Высочанах партийного руководства — а для прежде арестованных руководителей у меня были и личные письма: некоторые от сотрудников, а некоторые от родных.

Были еще письма для Дубчека и Свободы от президиума съезда в Высочанах. С Дубчеком я хотел встретиться в первую очередь. Людвик Свобода сказал, что Дубчек лежит, принять участие в переговорах не может, но что меня к нему проведут. Дубчек находился в одной из комнат Кремля, предоставленных Свободе и сопровождавшим его лицам. Свобода провел меня через две смежные комнаты и открыл двери.

Дубчек лежал в постели под одеялом; было жарко и одеяло было несколько спущено. Дубчек был полуодет; он лежал не-

\* Zdeněk Mlýněf „Mráz přichází z Kremlu“, Index, 1978.

подвижно, по всей вероятности, под действием успокоительно-го. На лбу у Дубчека была небольшая, заклеенная пластырем ранка, выражение лица у него было отсутствующее, как у одурманенного наркотиками человека. Но когда я вошел, Дубчек очнулся, приоткрыл глаза и улыбнулся. В этот момент я вспомнил святого Себастьяна, который улыбался под пыткой. У Дубчека было такое же мученическое выражение лица, а лучами разбегавшиеся по подушке от его головы линии напоминали ореол. Я подошел и погладил его по лицу. Дубчек говорил прерывисто и бессвязно. Он сказал, что не в состоянии сейчас же прочитывать письма и попросил положить их ему под подушку. Я удовлетворил его просьбу, но попытался объяснить кое-что устно. Дубчек был даже слушать не в силах. Я посидел несколько минут на его постели и вышел.

Дубчек находился в состоянии тяжелого нервного потрясения. Ранку на лбу он получил от удара об умывальник, когда поскользнулся в ванной. Пользовал его личный врач президента Свободы. После обеда состояние Дубчека несколько улучшилось, с ним встретились Черник и Смрковский. Мне же удалось переговорить с ним лишь на следующий день, незадолго перед тем, как мы приступили к официальной части переговоров — к подписанию так называемого московского протокола.

В коллективных переговорах и обсуждениях при подготовке текста этого протокола Дубчек участия не принимал.

В переговорах не участвовал и Франтишек Кригель. В те дни его вообще не было в Кремле. Позже стало известно, что советское руководство старалось не допустить Кригеля к переговорам; более того, советское руководство хотело воспрепятствовать возвращению Кригеля в Прагу. Но об этом речь впереди.

Отсутствовал во время переговоров и Алоиз Йиндра. Он был болен и лежал где-то вне Кремля, вероятно, в больнице. Ходили слухи, что у него был приступ синдрома Меньера — весьма характерная для того времени болезнь, симптом ее — потеря равновесия. У Йиндры, однако, независимо от болезни, были все основания чувствовать себя неуверенно; он действительно не знал, наверху ли он или внизу. Было лишь бесспорно, что с рабоче-крестьянским правительством<sup>2</sup> покончено.

Отсутствовали при обсуждении текста московского протокола еще два члена правительства — министры Дзюр и Кучера.

В переговорах принимало участие политбюро ЦК, а, — кроме членов политбюро, — Людвик Свобода и Густав Гусак. Как мы увидим, то, что происходило в Кремле, вообще трудно назвать переговорами. Вплоть до подписания протокола вечером 26 августа у политбюро ЦК КПЧ не было равного партнера. От советской стороны выступали отдельные лица, предлагавшие различные проекты текста как ультиматум. Причины такого поведения советской стороны совершенно ясны. Целью СССР было не обсуждение, а утверждение продиктованных условий капитуляции. Ведь еще опыт переговоров в Чиерне на Тиссе<sup>3</sup> показал, что даже длительные переговоры достижению поставленной советской стороной цели не способствуют.

У чехословацкой же стороны, — за исключением совещания ночью 25 августа, — единой точки зрения не было. Партийное руководство разделилось на тех, кто хотел сформировать "рабоче-крестьянское правительство", и тех, кого это правительство должно было посадить на скамьи подсудимых. Было ясно заранее, что группа, которая согласилась создать рабоче-крестьянское правительство, согласится на все, что внесет московское руководство в текст заключительного протокола. Поэтому в том, чтобы переговоры с Москвой все-таки состоялись, была заинтересована лишь вторая часть дубчековского руководства — Черник, Смрковский, Шпачек, Шимон и я — а также, конечно, Свобода и Гусак, которые в то время не были связаны ни с одной из групп.

Когда утром 25 августа я прибыл в Кремль, кое-что уже было согласовано. (Я не знаю подробностей, как проходили переговоры до моего приезда, кто принимал в них участие и кто какую позицию занимал. Так что когда я говорю о переговорах, то имею в виду совещания, состоявшиеся 25 и 26 августа). Решены были уже три важных вопроса. Первый из них был решен в пользу группы Дубчека: была отвергнута альтернатива формирования нового руководства, состав которого отличался бы от существовавшего до 20 августа 1968 года. В этом важнейшем пункте, иначе говоря, советская сторона смирилась с поражением. Однако другие два вопроса были решены в пользу Москвы: был аннулирован XIV съезд партии в Высочанах; кроме того, чехословацкие представители согласились, чтобы обсуждение ситуации в Чехословакии было снято с повестки дня Совета

безопасности ООН. Мне думается, что Смирковский, Шпачек и Шимон подключились к переговорам уже после того, как по этим двум вопросам решение было принято. В обсуждении их участвовали Людвик Свобода и сопровождавшие его лица, а также Дубчек и Черник.

Вернувшись из комнаты Дубчека, я информировал присутствующих о положении в Чехословакии, или, говоря точнее, я высказал свою точку зрения по поводу создавшегося в стране положения. Вот короткое содержание моего выступления: все-народное пассивное сопротивление ввергло оккупационную власть в кризис; она не в состоянии контролировать события — если, разумеется, не применит для подавления гражданского населения вооруженную силу. После съезда в Высочанах КПЧ пользуется большим авторитетом, парламент и правительство признали съезд в Высочанах и осудили оккупацию. Все это стабилизирует положение органов власти, которые оккупанты пытались, но не смогли разрушить. В то же время положение в стране неустойчиво, и это чревато опасностями. Достаточно нескольких маленьких провокаций и может произойти взрыв. Оккупационная власть начнет нервничать, и ни одной из сторон не удастся удержать создавшуюся ситуацию в желательных рамках. Все ждут, что окончательное решение будет принято здесь, в Кремле. Дубчек, Свобода, Черник и Смирковский пользуются огромным авторитетом. И если они будут едины при переговорах в Кремле, достигнутое в Москве соглашение будет принято преобладающим большинством населения Чехословакии. Однако, неотъемлемой частью достигнутого компромисса должна быть гарантия ухода иностранных войск из Чехословакии, — по возможности, с указанием срока. Кроме того, соглашение должно гарантировать, что чехословацкая политика будет и в дальнейшем соответствовать Программе действий КПЧ. Далее я подробно рассказал, какую роль в эти дни сыграли радио и печать, а также об условиях, в которых радио и печать работают. Я роздал присутствующим наглядно документировавшие положение в стране изданные в Чехословакии газеты и листовки.

Присутствующие задавали много вопросов, обсуждались самые различные проблемы. Если я не ошибаюсь, больше всех из недавно прибывших в Москву говорили Швестка и Ленарт. Однако они подчеркивали не размах всенародного сопротивления,

а опасность, которая будет угрожать стране, если принятие решения затянется. Они говорили о том, что государственные органы должны сотрудничать по практическим вопросам с органами оккупационной власти, что отсутствие такого сотрудничества может привести к нежелательным конфликтам с населением и т.д. и т.п. В общем же они не предлагали своего политического решения и не возражали против того, чтобы отвод оккупационных войск и подтверждение линии Программы действий КПЧ стали для продолжения переговоров в Москве обязательным условием. О необходимости "братской помощи в борьбе с контрреволюцией" и о том, что соответствующая Программе действий КПЧ политика — это проявление "правого оппортунизма", ими тогда не было сказано ни слова.

Позже, в частной беседе, я коротко информировал Черника, Смирковского, Шпачека и Шимона о том, как Биляк, Йиндра, Якеш и другие пытались сформировать правительство в советском посольстве в Праге, и чем это кончилось. А я узнал от своих собеседников, что с ними случилось после того, как мы виделись в последний раз в кабинете Дубчека 21 августа 1968 года. Мы договорились также о совместных действиях на предстоящих переговорах и, естественно, о том, что все мы будем с Дубчеком, как только он сможет принять участие в переговорах.

Черник сказал мне позже, что нам следовало бы подготовить материал для заключительного заседания и как можно раньше представить его советскому политбюро. У него уже был черновик текста, мы обсудили его с остальными. Потом мы с Богомиллом Шимоном начали составлять окончательный текст. После обеда я надиктовал его русский перевод кремлевской машинистке.

Содержание нашего проекта фактически представляло собой измененный вариант той позиции, которую политбюро ЦК КПЧ заняло в июле 1968 года по поводу варшавского письма пяти стран, которые впоследствии оккупировали Чехословакию. Правда, некоторые аргументы и общий тон текста мы изменили, поскольку изменилась ситуация: были отмечены некоторые отрицательные явления; мы признали и то, что политическое давление снизу несколько вышло за рамки ожиданий политического руководства. Но и на этот раз мы отказывались признать, что события в Чехословакии до оккупации были "контрреволю-

цией". Напротив, мы подчеркивали социалистический и демократический характер всенародного движения. Мы допускали, что положение в Чехословакии могло вызвать озабоченность пяти соседних стран, что руководство КПЧ этого недооценило. Но в интервенции мы видели трагическую ошибку, шаг, который не может ничего решить, а потому считали, что войска всех пяти государств должны быть из Чехословакии выведены. Только при этом условии последующее реформистское развитие Чехословакии может проходить в соответствии с общими интересами всех социалистических государств. В качестве возможной отправной точки мы ссылались на документы совещания в Братиславе. В отношении внутренней политики подчеркивалось, что Программа действий КПЧ — это основной документ, который должен определять линию компартии Чехословакии и в будущем. Если я не ошибаюсь, текст нашего нового предложения передан советскому политбюро Ольдржих Черник.

Советское политбюро было возмущено. Нам было сказано, что предложение выглядит как ультиматум, а что наша делегация должна понять, что ее положение не позволяет ей выступать с ультимативными требованиями. Чтобы подкрепить этот тезис, советская сторона представила свой проект. И вот этот проект, действительно, звучал как ультиматум. На основе советского проекта и был составлен подписанный позже текст "московского протокола". Вначале его отвергли все члены чехословацкой делегации. Его не поддержали даже члены промосковской группы. О том, что чехословацкая сторона не согласна с проектом, советскому политбюро сообщил Смрковский.

Я уже точно не помню, сколько раз и из-за каких формулировок возвращались к нам различные варианты текста, сколько раз они перерабатывались. Различные формулировки текста два, а иногда и три, члена нашей делегации передавали с нашими замечаниями одному-двум представителям советской стороны. А те либо были, либо не были уполномочены высказать свою точку зрения. И в зависимости от этого, либо сразу, либо через некоторое время возвращали наши варианты или замечания, в большинстве случаев отказываясь принять. От чехословацкой стороны в этой процедуре участвовали Черник, Смрковский, Швестка, Ленарт, Шимон и я. Партнерами от советской стороны были Косыгин, Сулов, Пономарев. Шимон и я встречались с Пономаревым.

Остальные во время этой бумажной войны занимались чем-чем. В течение дня с некоторыми членами нашей делегации встречались Брежнев и Косыгин. О том, что делали представители промосковской группы чехословацкого руководства Биляк, Якеш и др., я не имел никакого представления, да тогда это меня и не интересовало. Я был занят формулировкой различных проектов и замечаний и поэтому почти не присутствовал в зале, где проходило так называемое "коллективное обсуждение". Чаще всего, в этом зале находилась лишь небольшая часть делегации. Разбившись на маленькие группы, присутствующие обсуждали самые разнообразные вопросы.

К вечеру, когда советское политбюро окончательно отвергло наше предложение как недопустимый "ультиматум", обсуждался уже только советский вариант. Первоначальный советский текст отличался от подписанного позднее, главным образом, тремя моментами: в нем говорилось, что военная интервенция была обоснованной; в нем не упоминалось об отводе из Чехословакии советских войск; наконец, первоначальный советский вариант не признавал линию КПЧ правильной. Напротив, поскольку там говорилось о необходимости аннулировать XIV съезд КПЧ и сместить некоторых деятелей (в частности, Кригеля, Цисаржа, Шика, министра внутренних дел Павела и министра иностранных дел Гайека), создавалось впечатление, что реформистская политика КПЧ осуждается целиком и полностью. На изменении текста именно этих трех пунктов и сосредоточилось длительное обсуждение документа.

Промосковская группа в дубчеховском руководстве КПЧ вела себя в основном пассивно. Такое поведение, с ее точки зрения, было разумно: эти люди знали, что разговорами ничего не изменишь. Поэтому никто из промосковской группы не поддерживал первоначальный текст советского предложения и не препятствовал стараниям нашей делегации внести изменения. Сами же они не выдвигали предложений, выжидая только, чем закончится словесная дуэль. Зато активно старались уговорить нашу делегацию принять советские предложения Людвик Свобода и Густав Гусак, которые тогда в партийное руководство не входили. Свобода несколько упрощал, но все же, уговаривая нас, искренне боялся, что каждый час оттягивания решения увеличивает опасность столкновения между оккупационными войсками

и населением Чехословакии. Гусак же, напротив, старался лишь угодить советским представителям. Обсуждение XIV съезда в Высочанах он сводил к единственному — съезд необходимо аннулировать, так как в нем не участвовали делегаты Словакии.

Мне думается, что Людвик Свобода определил свою позицию уже 21 августа и с того момента от нее не отступал. Свобода не был политиком-реформистом, не был, собственно говоря, политиком вообще. Он был солдат, офицер армии Первой Чехословацкой республики,<sup>4</sup> который по случайному стечению обстоятельств стал командиром чехословацкой части, которая сформировалась во время Второй мировой войны в СССР и сражалась на стороне советских войск. Вероятно, уже тогда, во время войны, Свобода стал сторонником союза Чехословакии с СССР со всеми вытекающими из этого последствиями. Когда Свобода, до 1948 года, был министром обороны чехословацкого правительства, формально он оставался беспартийным, на деле же он представлял не только КПЧ, но ярко выраженную просоветскую ориентацию, а сторонники ее не утруждали себя чрезмерными размышлениями о государственном суверенитете в отношениях с СССР. У него было двумерное мышление. Все воспринималось с чисто военной точки зрения: либо с советской армией, либо против нее. Он больше был просоветским солдатом, чем коммунистом. Догмы коммунистической идеологии и тоталитарная практика коммунистов были ему, скорее всего, чужды, но в необходимости безоговорочной просоветской ориентации Чехословакии он был убежден.

В этих категориях Свобода и анализировал, вероятно, создавшееся в августе 1968 г. положение. Эти категории делали его мышление близким мышлению советских маршалов, для которых проблемы демократии существовали постольку, поскольку они касались их соображений о стратегическом господстве над территорией, на которой расположена Чехословакия. Людвик Свобода не возражал, чтобы на этой территории стратегически господствовал СССР, и это — ключ к его политической позиции. Когда в марте 1968 г. Свобода был избран президентом Чехословакии, он возложил венок на могилу Масарика,<sup>5</sup> и очень может быть, что он сделал это, чувствуя известную симпатию к основателю чехословацкого государства.

Став президентом, Свобода, вероятно, предпочитал больше походить на своих довоенных предшественников, чем на Новотного. И если бы дело не дошло до военной интервенции, он и в дальнейшем выступал бы за развитие демократии в Чехословакии. Но как только он оказался перед дилеммой — подчиниться ориентации на Советский Союз или нет, он по-солдатски однозначно выбрал Москву.

Ночью 22 августа Свобода сообщил мне о своей поездке в Москву с целью добиться возвращения Дубчека, но он тут же добавил, что потом Дубчек подаст в отставку, и все будет в порядке. Тогда это заявление показалось мне непонятным и противоречивым. Но после того, как я наблюдал Свободу в Кремле, никакой загадки для меня не осталось. С точки зрения самого Свободы, в его позиции вообще не было никакого противоречия. Противоречивой она могла показаться лишь тому, для кого интересы демократической реформы в Чехословакии были выше интересов советских маршалов. А поскольку Свобода принимал или отвергал демократическую реформу в зависимости от того, насколько она соответствовала военным концепциям советских маршалов, противоречие исчезало. Свобода был против похищения и убийства государственных деятелей. Но он не возражал, чтобы неугодные Москве политики были отстранены от дел более цивилизованным образом — например, отставкой. Свобода не был сторонником интервенции со всеми вытекающими из нее последствиями, он хотел воспрепятствовать применению варварских методов и кровопролитию.

Во время переговоров в Кремле Свобода вдруг начал кричать членам дубчекевского политбюро: "Вы все болтаете и болтаете! Вы уже доболтались до оккупации страны! Так хотя бы сейчас ведите себя соответственно и действуйте. Я видел за свою жизнь горы трупов и не допущу, чтобы из-за вашей болтовни погибли тысячи!"

Опасность кровопролития не была плодом горячего воображения Свободы. В письме, посланном ему президиумом съезда в Высочанах, президиумом Национального собрания и правительством, которое я ему привез, говорилось: "Очень серьезный и опасный фактор представляет собой растущая усталость и нервное истощение как оккупационных войск, так и на-

шего населения". Авторы этого письма выше всего ставили интересы демократического развития в Чехословакии, а потому предлагали Свободе прервать московские переговоры, вместе с Дубчеком и Черником вернуться в Прагу, стабилизировать положение, проконсультроваться дома и лишь после этого вернуться к переговорам.

Позиция Людвика Свободы была иной: он хотел как можно быстрее вернуться домой, но с соглашением в кармане, покончив тем самым с неопределенностью. В Москве Свобода встречался не только с Брежневым, но и с маршалами. В отличие от тех, кто писал ему письма из Праги, он, вероятно, не очень обольщался насчет своего собственного положения. Свобода знал, что при всем своем желании он сможет вернуться в Прагу лишь после того, как подпишет соглашение, — вернее, диктат Кремля. Внутренне он этому не противился; он из Чехословакии уехал, отчетливо понимая, как ему придется поступить. Он думал, что разговоры о сопротивлении были бессмысленной болтовней политиков.

Что же касается уверенности Свободы, что в данной обстановке человеческие жертвы были бы напрасны, то, как я уже писал в начале главы, и я ее разделял. Этими возможными жертвами, тысячами погибших, Свобода постоянно угрожал нашей делегации во время переговоров в Кремле, торопя нас прийти к соглашению. И ему было совершенно безразлично, какие возможности оставит КПЧ текст протокола. Тем самым Свобода служил и советским интересам. И все же я отказываюсь ставить знак равенства между Людвиком Свободой и людьми типа Биляка, Йиндры, Якеша и др., которые, будучи сторонниками тоталитарной диктатуры, тайно подготавливали военную интервенцию, или между Свободой и людьми типа Гусака, который сразу же перешел на сторону интервентов ради реализации своих личных амбиций, ради власти. Мотивы Свободы были иными. Лично я не могу согласиться с ними. Я не разделял их тогда, не разделяю их и сейчас. Я просто пытаюсь понять его, но не оправдать.

По-моему, проблема Людвика Свободы вовсе не в том, что в решающую минуту он предал демократические реформы "Пражской весны". Дело просто в том, что во время "Пражской весны" главой государства оказался человек, ничего общего с

демократической политикой не имевший. Во время "Пражской весны" главой правительства стал наш старый чехословацкий маршал, суждения которого в чем-то напоминали маршалов из Москвы. Чехословакия — не держава, а потому и у нашего маршала не было агрессивного великодержавного аппетита; напротив, как маленький маршал, он по-солдатски подчинялся маршалам большим, с которыми давно и прочно связал свою судьбу.

В августе 1968 года Москва использовала Людвика Свободу в своих целях. В последующие годы, — вместе с гусаковским руководством КПЧ, — она им злоупотребила. Свобода запутался в паутине политики "нормализации" и сыграл тогда унижительную роль статиста. Все это оказалось возможным только благодаря его примитивному просоветскому мышлению, его старости и тщеславию, типичному для многих вояк, причем не только вояк по профессии, но и по характеру. Народу было за него стыдно, а власть имущим — как в Праге, так и в Москве — он стал в тягость. И в 1975 году Свобода навсегда сходит с политической сцены.

В те же дни московских переговоров начал свою крупную политическую игру Густав Гусак. Ставкой была наивысшая должность в КПЧ. Тогда, правда, Гусак поддерживал два основных требования реформистского крыла партийного руководства: включить в заключительный протокол гарантии ухода иностранных войск с территории Чехословакии и подтвердить в тексте протокола правильность линии Программы действий КПЧ. Но он последовательно и настойчиво защищал советское требование признать недействительным XIV съезд КПЧ в Высочанах. Этот вопрос, как я уже говорил, был предварительно согласован еще до моего приезда. Но несмотря на это, съезд в Высочанах снова стал предметом обсуждения; во время переговоров стороны пытались найти политически более подходящее, компромиссное решение.

Я сам старался найти какой-то компромисс. Мне казалось абсурдным, что соглашение с московским политбюро может аннулировать XIV съезд КПЧ, который сыграл в Чехословакии такую важную роль. Ведь он не только укрепил позицию КПЧ среди населения, но и спас жизни и должности арестованных членов дубчековского руководства. К тому же я приехал в Москву от имени партийного руководства, избранного этим съездом, и

это меня обязывало. Правда, я не был членом политбюро, избранного новым ЦК КПЧ в Высочанах. Но членами его были Дубчек, Черник, Смирковский, Шпачек, Шимон и Гусак. Формально именно эти люди должны были защищать (или, напротив, осудить) позицию съезда в Высочанах. Но они на съезде не присутствовали, они не имели никакого представления об атмосфере съезда и о надеждах тех, кто там, в Чехословакии, представлял тогда КПЧ. А я помнил лица людей, которых я видел на заводах ЧКД, я отчетливо представлял, что бы они сказали о проекте документа, который перечеркнет, осудит их деятельность в первые дни советской оккупации.

Смирковский, Шпачек и Шимон прибыли в Кремль уже после того, как чехословацкая делегация предварительно согласилась аннулировать XIV съезд, но они пытались снова вынести этот вопрос на повестку дня. Им было невозможно отказаться от результатов съезда, который спас им жизнь. Поэтому проблема съезда обсуждалась снова и снова; снова и снова делались попытки найти иное, компромиссное решение. Наконец, начал вырисовываться вариант возможного компромисса: признать недействительными выборы нового ЦК КПЧ. В таком решении было весьма заинтересовано московское политбюро, которое ссылалось на заявление самого XIV съезда о том, что выборы ЦК не окончательны, поскольку работа съезда еще не была завершена. Мы же рассуждали так: в ближайшее время, — тогда предполагалось, что это произойдет в течение двух месяцев, — после отвода советских войск из ЧССР, съезд соберется снова, пересмотрит свои решения и будет избран новый ЦК. До этого в состав старого ЦК и его политбюро будут кооптированы члены ЦК, избранного на съезде в Высочанах, которые обеспечат численное превосходство сторонников реформ. Поэтому в заключительном московском протоколе нужно было так сформулировать утверждение о недействительности XIV съезда, чтобы осталась открытой возможность осуществить этот план. И мы этого добились: принятое в Москве компромиссное решение было проведено в жизнь на заседании Пленума ЦК КПЧ, которое состоялось 31 августа 1968 года сразу после возвращения дубчеховского руководства из Москвы.

По всей вероятности, Гусак обещал советскому политбюро добиться от чехословацкой делегации признания XIV съезда

КПЧ недействительным. Его действия осложнили достижение компромисса. Но в конце концов и Гусак согласился. Для этого у него были серьезные основания: Гусак не был прежде членом ЦК, а съезд в Высочанах избрал его и в ЦК, и в политбюро. Принятие компромиссного решения обеспечивало Гусаку членство в этих органах. Исходя из интересов своей личной карьеры, Гусак рассчитывал вначале на другой вариант: он надеялся, что на съезде компартии Словакии (КПС) его изберут на должность первого секретаря и тогда он уже не будет зависеть от постановлений съезда в Высочанах. Он звонил из Москвы в Братиславу, прося отложить съезд компартии Словакии, который был назначен на 26 августа, до возвращения чехословацкой делегации из Москвы. Его сторонники обещали выполнить эту просьбу. В момент моего приезда в Москву Гусак был убежден, что съезд в Братиславе не заседает. Я сказал ему, что он ошибается, что мне точно известно, что словацкий съезд начнется завтра, и он наверняка утвердит работу высочанского съезда. На съезд в Словакии была направлена делегация высочанского съезда. Я сообщил Гусаку и состав этой делегации, который был утвержден еще до моего отъезда в Москву. Выслушав меня, Гусак самоуверенно и презрительно улыбнулся. Он смотрел на меня как на дефективного ребенка, который понятия не имеет, как делается политика, и с апломбом назвал все это чепухой: съезд в Братиславе не состоится, в этом он уверен. И вообще только от него зависит, будет съезд или нет.

Но к вечеру Гусак, вероятно, уже знал, что съезд в Братиславе начнет свою работу на следующий день. И поэтому пройдет без него. Это несколько поколебало его самоуверенность. Он начал склоняться к решению, которое позволило бы назначить некоторых избранных на высочанском съезде деятелей на ключевые партийные должности, так как только это могло привести к власти и его. Но к тому же Гусаку удалось осуществить и свой первоначальный план: съезд КП Словакии начал свою работу 26 августа, но уже 27 на нем присутствовал Гусак. Там ему удалось провести резолюцию об отмене высочанского съезда, выполнив тем самым данные Москве обещания. Более того, будучи избранным первым секретарем компартии Словакии, Гусак автоматически, независимо от выборов высочанского съезда, становился членом политбюро всей КПЧ.

Но в первый день работы, когда еще Гусак отсутствовал, словацкий съезд, как и съезд в Высочанах, принял резолюцию, которая осудила интервенцию.

Во время переговоров в Кремле Гусак выступал как соратник и союзник Дубчека, Свободы и Черника. Главным образом — прямо и косвенно — он поддерживал Свободу. В отношении Гусака к Смирковскому уже тогда была заметна определенная сдержанность. Шпачек, Шимон или я вообще не были для него достаточно значительными фигурами. Поэтому к нам он никак не относился. В те дни Гусак не присоединялся и к промовской группе, т.е. к своим нынешним компаньонам по власти Биляку, Йиндре, Якешу и др. Советскому политбюро он понравился. Перед нашим отлетом из Москвы Косыгин сказал мне: "Товарищ Гусак такой способный товарищ, замечательный коммунист. Мы его раньше не знали, но он произвел на нас очень хорошее впечатление".

Я никогда не обольщался иллюзиями в отношении Гусака. Я познакомился с ним поздно, лишь в марте 1968 года, когда мы оба были сотрудниками Академии наук — он в Братиславе, я в Праге. Тогда, на одном из совещаний исследовательской группы, которой я руководил и которая занималась проблемой развития политической системы в Чехословакии, рассматривался вопрос государственно-правового упорядочения национальных отношений между чехами и словаками. В этом совещании принял участие и Густав Гусак.

В то время я уже много слышал о нем — как от его друзей, так и от врагов. Поэтому я ожидал встретить амбициозного политика, стремящегося вернуться в круг власть имущих. Но действительность превзошла все мои ожидания. На заседании группы, где все мы привыкли говорить по существу, откровенно, с терпимостью к разным взглядам, Гусак выступил как политический лидер, дающий указания и благосклонно разъясняющий неполноценным людям "правильную линию". По содержанию его выступление было крайне консервативно. Он повторял затертые фразы из работы Ленина "Государство и революция", смысл которых давно уже был отброшен в политической практике Советского Союза и других стран советского блока. Гусак старательно отгораживался от всех идей плюралистического, демократического понимания политической системы социализ-

ма. В области национальных отношений Гусак требовал федерализации государства. Он выступал как человек, который все знает. Местами его выступление было грубо, местами демагогично.

В конце совещания, подводя итоги работы, я сказал, что выступление Гусака годилось бы для митинга, но что мыслей оно не содержало. Гусак с трудом скрыл злобу; у меня появился враг.

Впечатление, которое он на меня тогда произвел, было настолько неблагоприятным, что сблизиться с ним мне совершенно не хотелось.

Его отношение было мне безразлично.

До войны Гусак, по образованию юрист, принадлежал к словацкой коммунистической интеллигенции. Он работал в подполье и свою главную роль сыграл в словацком национальном восстании в августе 1944 года. С того времени началась особая, противоречивая эволюция Гусака и как политика, и как человека. Можно говорить о личной трагедии Гусака, но гораздо серьезнее трагедия народа, которым, из-за поддержки извне, он правит вот уже десять лет.

Гусак — политик сталинско-готвальдовской гвардии в КПЧ, линию которой он проводил и методами которой он пользовался. Однако, с другой стороны, Гусак — личность-самородок. Он гораздо талантливее большинства этой гвардии. У него были свои взгляды и убеждения, — в первую очередь по вопросу Словакии, — а потому он неизбежно вступал с этой гвардией в конфликт. Это основное противоречие красной нитью проходит через всю политическую деятельность Гусака.

Во время войны, находясь в словацком коммунистическом подполье, Гусак выступал как носитель официальных в то время взглядов Коминтерна. Так, например, Густав Гусак предлагал Готвальду после войны присоединить Словакию к СССР как союзную республику, ссылаясь при этом на невысказанное желание большинства словацкого народа. Гусак огульно называл чехов, оставшихся в Словакии во времена словацкого фашистского государства, группой коллаборационистов; он говорил, что участвовавшие в движении сопротивления евреи ненадежны, и настаивал, чтобы они были изолированы. Сталинское мышление, согласно которому определенная классовая, национальная или религиозная группа может подпасть под подозрение,



а затем быть дискриминирована как целое, столь же типично для Гусака, как и для всей сталинско-готвальдовской гвардии в КПЧ.

В послевоенные годы, до его ареста в 1951 году, Гусак был одним из самых талантливых и активных проводников сталинской политики. После выборов 1946 года он стал председателем Собрания уполномоченных в Словакии. Коммунисты Словакии проиграли в то время выборы. Методы, которые применяет Гусак в те годы, послужили прообразом тактики КПЧ в масштабах всей страны в феврале 1948 года для захвата власти независимо от результатов голосования. Гусак, не колеблясь, дискредитировал и натравливал друг на друга своих политических противников — существовавшую в то время Демократическую партию и католическую церковь. Как председатель Собрания уполномоченных, Гусак принимал активное участие в провокациях, организованных органами государственной безопасности и направленными против некоммунистических политиков и духовных лиц. Нельзя отрицать, что некоторые лица из рядов антикоммунистической оппозиции в Словакии были в то время связаны с католическими политиками фашистского толка. Однако Гусак, прибегая к полицейским провокациям, создавал впечатление, будто *все* некоммунистические политические течения представляли непосредственную опасность для демократического чехословацкого государства. Он не рассчитывал получить большинство голосов на демократических выборах, а поэтому старался захватить ключевые позиции путем кабинетной политики, провокаций и насилия.

И все же Гусак-сталинист отличается от других сталинистов Братиславы и Праги. Он действительно озабочен, чтобы словацкие национальные интересы не ущемлялись пражским центром. Кроме того, Гусак — не типичный аппаратчик, т.к. сила аппарата зиждется на посредственности и анонимности работников. Он, скорее, предпочитает интеллигентное манипулирование, осуществляемое способной, квалифицированной правящей элитой. Поэтому для тех, кому Гусак помог захватить власть, для государственного и партийного аппарата, для политической полиции он так и не стал своим. Гусак для них — инородное тело, индивидуалист, амбициозный человек, которого, однако, побаиваются. В аппарате его называли "коммунистом-баринном". Эта

аттестация на разные лады повторялась официальной партийной пропагандой, когда Гусак был в тюрьме, и позже, при Новотном, когда Гусак был уже на свободе. Несмотря на то, что он содействовал победе сталинизма в Чехословакии, Гусак оказался его жертвой, так как другие сталинисты видели в нем опасно талантливого человека, а сторонники пражского централизма — опасного защитника словацких национальных интересов.

В сущности, Гусак — неудачник. В период словацкого национального восстания он, отказавшись от прежних своих планов присоединить Словакию к СССР, помог вернуть Словакию в единое чехословацкое государство. Он надеялся, что Словакия — а тем самым и он как словацкий политик — получит возможность удовлетворять свои интересы. Но в итоге в стране была создана диктатура центра, вступившая в противоречие с интересами общества вообще, а тем самым с интересами Словакии. В период с 1945 по 1951 гг. Гусак делал все для укрепления власти КПЧ, а тем самым и своей собственной власти. Но его арестовали и приговорили к пожизненному заключению. Диктаторы, которым так активно помогал Гусак, исключили его из круга высоких чиновников, они боялись его как опасного конкурента.

Арест Гусака был в значительной степени следствием его личного конфликта с Широком, который в готвальдовском, а позже и в новотновском политбюро представлял то направление сталинистов, которое требовало безропотного подчинения словацких интересов диктатуре центра. В пятидесятые годы Гусак и Широкий были соперниками. Думаю, что если бы тогда победил Гусак, он бросил бы в тюрьму Широкого, не испытывая при этом угрызений совести. Но факт остается фактом: арестован был Гусак. Его осудили за "преступления", которых он не совершал. Десять лет он был узником сталинских, а позже новотновских тюрем.

В 1963 году Гусака реабилитировали. Новотный предложил ему, как и Смирковскому, вернуться к политической деятельности. Он мог стать заместителем министра финансов. Гусак отказался. Я не был тогда знаком с Гусаком, но думаю, что поступил он так по двум причинам. Гусак понял, и понял верно, что Новотный хочет перевести его из Словакии в Прагу, чтобы ото-

рвать от политического тыла. Кроме того, в политическом плане должность заместителя министра финансов была для Гусака чересчур незначительна. Мне думается, что Гусак уже в то время делал ставку на серьезные изменения в стране, надеясь сыграть в будущем более важную политическую роль.

В тюрьме Гусак несколько изменился, но, в основном, остался самим собой. Он на собственном опыте увидел, как поступает режим коммунистической диктатуры с теми, кого выбрасывает на свалку. Но себя самого Гусак не относил к вышвырнутым навсегда и "за дело". Напротив, он вышел из тюрьмы с твердым убеждением, что ему "по праву" положено место на Олимпе. Ведь он всегда защищал коммунизм, интересы рабочего класса в Словакии, ведь он способнее тех, кто правит сейчас. Он наверняка думал, что режим нужно изменить. Однако представления Гусака о необходимых переменах были обусловлены его прошлой политической деятельностью. К тому же на протяжении многих лет он был изолирован от того, что происходило в стране. Выйдя из тюрьмы, Гусак остался сильной личностью, но демократом не стал. Он был убежден в своей миссии, стремился устранить от власти бесталанных, чтобы показать им, что такое настоящий политик.

Мне думается, что потребность самореализации неразрывно связана у Гусака со сферой политики и власти. Он убежден в своем призвании указать правильный путь. Мирослав Кусый, один из ведущих коммунистов-реформистов Словакии, рассказывал мне об одной встрече с Гусаком. Это было утром 21 августа 1968 года перед зданием ЦК в Братиславе. Вокруг двигались танки. Это были первые часы оккупации. Тогда, под грохот танков, Гусак произнес: "Я выведу народ из этой катастрофы". Нечто подобное в такие минуты мог сказать лишь человек, глубоко верящий в свою миссию.

После 1963 года Гусак, по собственной инициативе, встречался со многими коммунистами-реформистами в Братиславе и Праге. На протяжении нескольких лет Гусак выступал с острой критикой Антонина Новотного, умело собирая вокруг себя оппозиционно настроенных людей.

Многие влиятельные коммунисты-реформисты стали видеть в нем возможную альтернативу, смену Новотному. Сам Новотный все больше и больше боялся Гусака, старался ограничить его по-

литическое влияние. Он по любому поводу дискриминировал его. Но снова бросить Гусака в тюрьму Новотный уже не мог. Напротив, преследования со стороны Новотного еще больше способствовали росту популярности Гусака. Гусак умело использовал и это.

После смещения Новотного Дубчек с Черником и Кольдером подбирали состав нового руководства. Никому из них не хотелось включить Гусака в партийную верхушку. На должность секретаря компартии Словакии Дубчек назначил Биляка — тогда Дубчек считал его своим товарищем. Поэтому даже в Братиславе у Гусака не было никаких перспектив. Он снова оказался в явном проигрыше и должен был удовлетвориться должностью заместителя председателя правительства.

"Пражскую весну" Гусак воспринял как временное явление. Окончательное соотношение сил должно было — считал он тогда — определиться в будущем. Положение его не было легким. Попытки радикальных реформ, которые вели к политическому плюрализму, он считал несостоятельными, неосуществимыми. В личных беседах он называл коммунистов-реформистов, — главным образом, из кругов пражской интеллигенции, — "могильщиками процесса возрождения". Дубчек и некоторые другие члены партийного руководства выглядели в его глазах наивными дилетантами в политике, которых он явно превосходит талантом и политическим реализмом. У него не было, как мне кажется, чрезмерных иллюзий в отношении великодержавной политики СССР. Гусак знал из собственного опыта, что советская армия не поддержала словацкого национального восстания, поскольку оно не соответствовало стратегическим замыслам Сталина. Но тем более — и как убежденный коммунист, и как политик-реалист — он считал необходимым избежать конфликта с Москвой. В случае же возникновения такого конфликта Гусак заранее был готов на компромисс. При таких взглядах он не мог найти поддержки у реформистов, а просоветская и сталинская клика в КПЧ сама избегала союза с ним. Поэтому Гусаку никак не удавалось подняться на верхние ступеньки иерархической лестницы. В конце концов Гусак вынужден был присоединиться к радикальным течениям, представители которых требовали дальнейших персональных изменений.

Но для этого ему пришлось замаскироваться и скрывать свои подлинные убеждения.

В шестидесятые годы и в период "Пражской весны" многие коммунисты-реформисты видели в Гусаке политического союзника, а некоторые — и личного друга. Для Гусака же эти люди были необходимым, но не лучшим орудием для осуществления собственных мессианистских представлений и связанных с этими представлениями амбиций. Многие из этих людей разобрались в Гусаке слишком поздно, лишь после 1969 года, когда Гусак наконец-то поднялся на самую высшую ступеньку власти.

Наиболее показателен случай с историком Миланом Гиблом, который в 1968 году был ректором Высшей партийной школы ЦК КПЧ. В последние годы правления Новотного Гибл делал все возможное, чтобы Гусака не только реабилитировали, но и вернули на политическую арену. Он поддерживал Гусака в его выступлениях против Новотного, и за это в 1965 году Новотный выгнал Гибла с работы. Еще в апреле 1969 года, когда Гусак сменил Дубчека на посту Генерального секретаря ЦК КПЧ, будучи убежден, что Гусак — самый подходящий политик для осуществления "кадаризации", для защиты остатков реформ 1968 года, Гибл активно помогал ему заручиться поддержкой реформистов в ЦК. А в 1972 году Гибла арестовали, и Гусак хладнокровно позволил приговорить Гибла к шести с половиной годам тюрьмы за "подрывную деятельность против республики". Гибл же все время выступал за сохранение хотя бы некоторых реформ, старался собрать вокруг себя реформистов, своих единомышленников, обращался за поддержкой к коммунистическим партиям Италии и Франции. Гусак, сам несправедливо осужденный в прошлом, продержал Гибла в тюрьме вплоть до конца 1976 года, хотя ему было хорошо известно, за что арестовали Гибла, насколько унижительно и опасно для здоровья Гибла заключение.

Прийдя к власти, Гусак расправился почти со всеми, кто помог ему вернуться к политической деятельности и занять высшую партийную должность. Более того, он связал свою судьбу с людьми, которых презирал и считал бездарными слугами Новотного — прежде всего с Василием Биляком. Правда, Гусак оказался во власти обстоятельств: он стал первым человеком

партии, когда удержаться на этой должности мог лишь верный лакей Кремля. А Кремль требовал ликвидации прежних друзей Гусака и возвращения к власти его многолетних личных врагов. Получая свой пост по милости Москвы, Гусак должен был знать об этом заранее. Он гораздо умнее своих нынешних коллег по политбюро. Он прекрасно понимал, как ему придется действовать. Всю жизнь он мечтал вскарабкаться на самую высокую ступень власти. И когда такая возможность представилась, Гусак не устоял. Он отказался от своих прежних убеждений, согласился заплатить полную цену за право стоять во главе оккупированного государства.

После того, как в мае 1969 года московское политбюро назначило Гусака на высшую должность в КПЧ, в Чехословакии казалось, что положение несколько улучшилось. Было известно, что Гусак — не советский агент. Напротив, поскольку в шестидесятые годы он был связан с реформистами, люди надеялись, что ему удастся "предотвратить трагедию". Им казалось, что Гусак представляет центр. В Чехословакии этому верили довольно долго, на Западе же журналисты думают так до сих пор. До сегодняшнего дня они пишут о Гусаке как о человеке, который не допускает эксцессов. В действительности такие утверждения ни на чем не основаны. Гусак проводит политику, угодную Кремлю, и если иногда создается впечатление, что дело не доходит до крайностей, то только потому, что этого не желают в Кремле. В самой КПЧ, в аппарате ЦК и других партийных группировках у Гусака не было и нет поддержки. Он не принадлежит ни к группе так называемого здорового ядра КПЧ, то есть к тем, кто в 1968 году хотел советской оккупации и способствовал ей; его нельзя отнести и к прагматикам в партийном и государственном аппарате. Он держится на милости Кремля. В этом его сила, но в этом же и его слабость. Гусак есть и будет всего лишь советским наместником в Чехословакии, которого, если возникнет необходимость, кремлевские патроны безжалостно устроят.

Весьма вероятно, что тогда, в Кремле, в августе 1968 года, Гусак сам не вполне предвидел, какой режим сложится в Чехословакии под его властью. Я не думаю, что Гусак хотел ликвидировать треть членов КПЧ как "пособников контрреволюции". Гусак, вероятно, не представлял тогда, что Биляк, которого он презирал, станет его главной опорой. И все же уже тогда Гусак

совершенно сознательно вступил на путь, который привел его к вершинам власти и в партии, и в государстве; уже тогда Гусак готовился принести в жертву своим амбициям реформы "Пражской весны".

Так вот, поздним вечером 25 августа, в отсутствие Дубчека и Кригеля, пять сторонников демократических реформ — Черник, Смирковский, Шпачек, Шимон и я — столкнулись с семью представителями промосковской группы (Биляк, Якеш, Швестка, Пиллер, Ленарт, Барбирек, Риго). Восьмой из этой группы — Алоиз Йиндра — тоже отсутствовал. Мы все еще пытались внести некоторые исправления в советский проект заключительного документа, старались сберечь хоть некоторый простор для осуществления реформ. На нас постоянно сыпались окрики Людвика Свободы и Густава Гусака. Все это наблюдали министры Дзюр и Кучера, посол Чехословакии в Москве Владимир Коуцкий. Они не вмешивались в обсуждение, но явно были на стороне тех, кто готов был подписать советское предложение без каких-либо оговорок.

Во время обсуждения протокола советское политбюро постоянно оказывало давление на чехословацкую сторону. В основном это делалось путем сепаратных переговоров с отдельными членами чехословацкой делегации, когда угрозы чередовались уговорами и обещаниями. Советские обещания, которые давались в таких частных беседах, вызывали у некоторых делегатов иллюзию, будто именно они могут заручиться советской поддержкой. Давление советской стороны определяло атмосферу переговоров. Над нами постоянно висели две очень серьезные угрозы.

Во-первых, нам дали понять, что мы не выйдем из Кремля, пока не подпишем советский ультиматум, — пусть и с некоторыми изменениями. Советская сторона не скрывала этого; напротив, несколько раз было сказано: не подпишете завтра, подпишете через неделю. И не было сомнений, что Кремль свою угрозу осуществит. У шести членов политбюро, которых привезли как арестантов, имелись на этот счет весьма наглядные представления. Они уже пережили допросы инквизиции; им показали орудия пыток. Я говорю это буквально, а не образно. Мне известно, что каждый из них уже прощался с жизнью. Это, правда, придает силу, так как после первого страха перед смертью наступает

примирение с судьбой. Но психологически состояние резко меняется, когда, вместо неизбежного конца, перед человеком снова открываются ворота в жизнь. Когда самоубийцу спасают, он ведь тоже не сразу повторяет свою попытку.

С чисто человеческой точки зрения, положение некоторых членов дубчековского руководства было похоже скорее на положение людей, которых шантажируют гангстеры, чем на положение правительственной делегации на международных переговорах. Но не это главное. Главное то, что знали мы все: по некоторым принципиальным вопросам Кремль не уступит, даже если расплачиваться за это придется бессмысленным кровопролитием в Чехословакии. Такова была вторая угроза, которую мы слышали не только от Свободы, но и во время прямых контактов членов нашей делегации с советскими представителями. Если вспыхнет конфликт, — говорили нам, — то советским войскам приказано применить против населения Чехословакии оружие. Мы ведь должны понять, что сейчас, то есть пока хотя бы в общих чертах не достигнута договоренность, они уступить не могут. И если все откладывается и задерживается, то это наша вина, только мы несем ответственность за жизнь гражданского населения Чехословакии.

Легко утверждать задним числом, что Москва не пошла бы на драконовские меры, а если бы пошла, то это было бы чревато для нее катастрофическими международными последствиями. Легко рассуждать, что народам Чехословакии открытый конфликт принес бы историческую и нравственную победу, что они противопоставили бы тогда цепи капитуляций в своей истории акт героического сопротивления могущественному агрессору и выпрямили бы спину. Мы и тогда обдумывали эти аргументы. Но все же трудно было взять на себя ответственность за решение, чреватое кровавой бойней. У нас не было даже гарантии, что бойни не произойдет еще до того, как мы, в Кремле, придем к соглашению. Ведь отступление от первоначального плана, попытка Кремля договориться с теми, кого по идее предполагалось судить "контрреволюционным трибуналом", — это был максимум, достигнутый пассивным сопротивлением народа. Но если бы переговоры в Москве провалились, у Кремля не осталось бы выхода. Он вынужден был бы вернуться к своему первоначальному плану и проводить его в жизнь с еще большей жестоко-

стью. Нелепо надеяться, что разбойник, сила которого в угрозе оружием, не применит это оружие, если окажется в затруднительном положении и поймет, что другого выхода у него нет. А советское политбюро не было неопытным в разбое новичком. Сталинская традиция массовых преступлений, как и Будапешт 1956 года, — живое тому доказательство.

Разумеется, и для Москвы установление в Чехословакии оккупационного режима, а тем самым доведение агрессии до всех логических ее последствий, было в политическом отношении не самым удачным исходом. Но уже решившиеся на военную оккупацию силы, при определенных обстоятельствах, могли пойти и на это. Такое решение не требовало даже согласия политбюро ЦК КПСС: достаточно, чтобы за него выступили "ястребы" в генералитете. В их власти было начать бойню, свалить ответственность за нее на "волнения", вызванные "контрреволюцией" и чехословацкими гражданами.

Мы знали, конечно, что советское руководство, оказавшись вынужденным вести переговоры с Дубчеком, стремилось провести руками самого Дубчека и других реформистов те меры, которые невозможно было осуществить посредством Биляка и Йиндры. Но насколько им это удастся, зависело хотя бы отчасти от тех, кого Москва пыталась использовать как орудие. Палка, которой хотела воспользоваться Москва, была о двух концах. Перед нами снова открывались определенные политические возможности. Путь компромисса давал нам известные шансы, а как ими воспользоваться — зависело уже от нас самих. Даже если надежда была невелика, все же открывалась реальная политическая перспектива. И если мы хотели предотвратить кровавую бойню, спасая при этом хотя бы часть реформ, мы должны были пойти на этот компромисс. Так, по крайней мере, мы считали тогда, в Кремле.

Ни для кого не было тайной, что советское политбюро не было едино, когда решался вопрос о военном вмешательстве. Поэтому мы рассчитывали на то, что провал военных методов укрепит позицию тех, кто в свое время не соглашался на применение силы. Политический компромисс с Москвой во всех отношениях был бы выгоден Кремлю, но такой компромисс вовсе еще не означал автоматического сведения на нет политики реформ в Чехословакии: требования "ястребов" можно удовлетворить

размещением незначительного контингента советских войск — прежде всего стратегических частей — при условии, что эти войска не будут вмешиваться в политику КПЧ, то есть, в политику проведения реформ, пусть и в меньших масштабах. Таким образом, мы рассчитывали, что сможем приступить к своего рода "кадаризации" в максимально благоприятных условиях — без кровопролития, без ссылки наших людей в Сибирь, без репрессий со стороны полиции, без тоталитарной диктатуры.

Приблизительно так рассуждали мы все — Черник, Смрковский, Шпачек, Шимон и я. Но у каждого, кроме того, были и свои соображения. Различной была и степень нашего оптимизма относительно будущего Чехословакии. Всем нам было ясно, что желаемое часто принимается нами за действительность, что мы склонны видеть лучшую из существующих возможностей. Во время дискуссий мы высказывали свои сомнения вслух; мы подсмеивались над своей верой, а время от времени то один, то другой теряли всякую веру. Я помню, как несколько раз, совершенно неожиданно, в каком-то провидении, — без каких-либо логических взаимосвязей, — мне вдруг начинало казаться, что все наши рассуждения бессмысленны, что мы в чем-то себя обманываем, а правда очень проста: мы подписываем капитуляцию, отречение, и народ дома назовет это изменой. Тогда в Кремле в один из таких моментов я сказал Смрковскому (кажется, при этом присутствовали Шпачек и Шимон), что для меня лично эти переговоры оказались полезны лишь в одном: я понял Эмиля Гаху.<sup>6</sup> Никто не возмутился; Гаху тогда, наверняка, вспоминали все. Но некоторые отворачивались от собственных сомнений энергичнее, упорнее других. Кажется, первым решил подписать советский ультиматум Черник.

Это серьезно сузило обсуждение различных альтернатив. Было ясно, что промосковское большинство участников переговоров, а вместе с ними министры Дзюр и Кучера и посол Чехословакии в Москве Коуцкий подпишут ультиматум в любом виде. Затем ультиматум подпишут Свобода и Гусак. И как только стало ясно, что ультиматум подпишет и Черник, советской стороне оставалось убедить только Дубчека. Без подписи Смрковского положение осталось бы для нее довольно затруднительным, но, с политической точки зрения, все же терпимым. С этой же, политической точки зрения, подписи Шпачека, Шимона, Кри-

геля и моя значили не так уж много. Это гирька, которая не перетянула бы чашу весов.

Позиция Дубчека оставалась, однако, неизменной вплоть до 26 августа, до торжественного заседания, которое предполагалось завершить подписанием документа. Даже на этом заседании еще вносились какие-то изменения в текст. На переговорах, которые проходили ночью 25 августа, Дубчека не было, но некоторые члены делегации его несколько раз навещали. Дубчек поддерживал все предлагаемые нами изменения. Он хотел, чтобы мы продолжали вести переговоры и работать над текстом, но окончательного "да" относительно своей подписи под документом не говорил. Он хотел увидеть прежде окончательный текст договора.

Поздней ночью 25 августа вся чехословацкая делегация, за исключением Дубчека, Кригеля и Йиндры, собралась за одним столом. Председательствовал Ольдржих Черник. Каждый член делегации должен был выступить и заявить, подпишет ли он документ. Текст протокола еще не был отредактирован. Окончательную редакцию предполагалось принять на следующий день на совместном заседании с советским политбюро в полном его составе. Так что еще была возможность вносить изменения. К тому времени советская делегация еще не приняла формулировку об отводе войск с территории Чехословакии. (В подписанном протоколе такая формулировка есть.) Поэтому я считал преждевременным брать на себя обязательство подписать документ, исключив тем самым для себя возможность дальнейших изменений текста. Это было как раз то заседание, на котором Свобода кричал, что мы доболтались до оккупации страны иностранными армиями и продолжаем болтать. Гусак настаивал, чтобы высказался каждый из присутствующих. Атмосфера была очень тягостная, напряженная, истеричная. На этом заседании я отказался сказать "да" и оставил за собой право принять решение на следующий день, — в зависимости от итогов окончательного обсуждения. Все остальные уже тогда обещали подписать протокол. Что же касается отсутствовавших, то в позиции Алоиза Йиндры не сомневался никто. Позиция Кригеля была вообще неизвестна, а Дубчек, как и я, хотел сообщить свое окончательное решение на следующий день. Только он мог еще изменить ход событий.

Совещание окончилось почти в три часа ночи. Это была ночь с 25 на 26 августа. Потом мы поехали в правительственный особняк на Ленинских горах. В прихожей, как и в Кремле, стояли столики с водкой, коньяком, икрой, осетриной и другими яствами. Я вошел в свою комнату и свалился на кровать. Послышался тихий стук в дверь. Я открыл и увидел барышню в халатике, под которым, как мне показалось, не было ничего. "Вам что-нибудь еще нужно, товарищ?" — проговорило это создание и кокетливо улыбнулось. Я не знал, какие еще услуги полагаются официальному гостю Кремля, но выяснять не хотелось. Я раздраженно ответил, что мне нужно лишь одно: чтобы меня оставили в покое. И закрыл двери.

С ночи на 21 августа я спал лишь три раза, всего по несколько часов. Я выкурил за это время сотни сигарет и выпил десятки чашек черного кофе. Напряжение не ослабевало — в кабинете Дубчека с дулом автомата у затылка, в советском посольстве в Праге, на съезде в Высочанах, а потом в Москве, в Кремле. От усталости я не мог уснуть. В голове мелькали не мысли, а картины, ощущения, бесконечные и бессвязные кадры. А в просветах между ними меня вдруг осеяло ошеломляюще ясное и бесхитрое понимание.

Я открыл окно. Оно выходило в сад. Свежий утренний воздух несколько успокаивал нервы, на смену видениям снова пришли мысли. Только сейчас мой мозг начал анализировать обстановку глобально, выделяя наиболее существенное. Пока я находился в вихре событий, разговоров, совещаний, в процессе принятия решений по поводу десятков конкретных вопросов, пока я писал проекты и замечания, переводил их на русский язык, обдумывал конкретные требования данного момента, я жил только своей ролью, как заранее запрограммированная вычислительная машина. То, что происходило вне меня, либо воспринималось как фон, либо служило стимулом для моих действий. То, что происходило во мне, откладывалось внутри, но у мозга не оставалось времени это обдумать. Из этого комплекса переживаний, впечатлений, ощущений и невысказанных слов в голове складывались вопросы, которые требовали ответа. А все многочисленные ответы выливались в один, в ответ на главный вопрос: что же произошло и какова моя роль в происшедшем?

То, что я оказался в Москве, — наполовину заложником, наполовину правительственным гостем, — логическое следствие всей моей жизни и политической деятельности. Я сам участвовал в создании такой ситуации. Собственно говоря, она — следствие не 20 августа 1968 года, а 25 февраля 1948 года.<sup>7</sup> Потому что именно тогда я безоговорочно, по собственному решению и убеждению примкнул к тем, кто, в свою очередь, безоговорочно, по собственному решению "на вечные времена" подчинились Москве и ее целям. Сейчас уже не важно, почему я так поступил, почему так поступили другие, были ли намерения и идеалы, которые вели нас к этому, благими. Но так случилось. Выбор сделал я сам. Правда, вот уже больше десятка лет я знал, что Москва — это рассадник уголовщины. Я не хочу оставаться ее прислужником. Но что же я делаю? Я пытаюсь изменить положение у нас, в Чехословакии, но почему-то надеюсь, что Москва искренне согласится покончить с уголовщиной. Я надеюсь получить разрешение Москвы на реформы дома. У меня есть некоторые доводы, чтобы так думать. Однако, уже много лет существуют веские доводы думать совершенно иначе. Я либо недооценил, либо не учел их. Они не соответствовали моим концепциям коммунистического реформизма.

Случившееся неделю назад полностью соответствовало логике вещей. Москва решила приостановить экспериментирование с коммунистическими реформами, которое показалось ей чересчур опасным, угрожающим ее собственным интересам. Кремль вправе поставить меня перед судом, вправе спросить: "Так что, ты все еще с нами 'на вечные времена'?" Ведь ты же сам это твердил целых двадцать лет!" Москва хочет слышать либо "да", либо "нет". Подробности ее не интересуют. Она требует определенного ответа и от меня, и от остальных. Кто оказался здесь в двусмысленной роли заложников и членов правительственной делегации одновременно.

Собственно, старый генерал Свобода был прав, когда ругал нас и требовал, чтобы мы взглянули прямо в глаза правде. Он понял ситуацию и потому отвечает Москве недвусмысленным "да". Свобода требует, чтобы так же поступили и остальные, а кто не хочет, пусть скажет "нет", но перестанет тянуть время, заниматься проволочками. Мы несколько ошарашены тем, что советское политбюро повело себя как банда гангстеров. Но разве

мы сами не виноваты? Кадар спрашивал Дубчека: "Неужели вы не знаете, с кем имеете дело?" Кадару казалось невозможным, чтобы Дубчек этого не знал. Мы оказались в дураках потому, что окутали свою глупость идеологией коммунистического реформизма.

У меня затекла нога — я долго стоял, опираясь о подоконник; я сел на него и продолжал смотреть в сад. Из тени вышел человек в штатском, его профессия не вызывает сомнений; он подходит к окну и задает тот же вопрос, что и девушка: "Вам что-нибудь нужно, товарищ?" — "Нет", — говорю я ему, схожу с подоконника и ложусь на кровать. Этот человек в саду — еще одно свидетельство, что в Москве все предусмотрели. Может быть, он стоит там, чтобы помешать мне выброститься из окна, если бы я решил таким способом уклониться от прямого ответа. Может быть, стоит ему свистнуть — прибегут другие сотрудники КГБ: окно невысоко, меня бы подхватили внизу без труда, я даже ногу бы не сломал.

Уже почти шесть утра, а в девять в Кремле снова начнутся переговоры. Я думаю о советском ультиматуме. Я знаю, что он будет подписан, что подпиши под ним — тоже логическое заключение всей прошлой жизни. Не подписать — значит, начать новую, совершенно иную жизнь. Способен я на это? Не только способен, но и должен.

Ведь все мои прошлые политические поступки, в том числе и последний этап, этап реформы, завершились катастрофой. Благие намерения никого не интересуют, уже Данте знал, что ими вымощена дорога в ад. Я решаю не подписывать. Усталость побеждает, я засыпаю.

К девяти мы собрались в Кремле. О том, что я протокол не подпишу, сообщаю Чернику и Биляку как представителю промосковской группировки — пусть все знают. Я рассказал о своем плане: пойду к знакомому доктору, скажусь больным и на совместную встречу двух политбюро не приду. Пойти и не подписать — значило бы вызвать скандал. Этого я хотел бы избежать. Я не хотел оказывать давление на тех, кто решил иначе; но подписывать я не собираюсь. Биляк пробормотал, что я волен поступать, как мне угодно, но в восторге он явно не был, вид у него был хмурый, неприветливый. Черник привел Шпачека. Потом я говорил наедине со Смирковским и Шимоном. Я решаю подписать.

Почему? Все четверо признались, что пережили то же самое, когда их превратили из заключенных узников в членов правительственной делегации. Тогда все они почувствовали, что не могут с полной ответственностью действовать так, будто ничего не случилось. И все же все они, в конце концов, передумали. Они поняли, что отказ от подписи решит их личную проблему, но не политическую проблему страны, что на их плечах лежит бремя, которое они не могут просто сбросить. Более того, аргументы, которые я приводил накануне, укрепили их уверенность, что компромисс — совсем не безнадежное дело, что в Чехословакии все еще есть возможность создать лучшие и более перспективные условия, чем в Венгрии после интервенции 1956 года. Разумеется, я могу выбирать, как считаю правильным, но я должен помнить, что решаю не только свои личные проблемы, проблемы своей совести, но обязан думать и о политической перспективе. И если я выйду из рядов партийного руководства, это осложнит их положение, поставит под угрозу многое из того, что можно еще спасти. Кроме того, если я уклонюсь от подписи, создастся впечатление, что подписание протокола — это вопрос совести, вопрос чести каждого члена делегации в отдельности. В моем отказе будет осуждение тех, кто подписал, как предателей. В действительности же чехословацкая делегация была обязана найти выход из создавшегося положения, за которое ответственны мы все. Мне сказали также, что в заключительных переговорах будет участвовать Дубчек, что он намерен настаивать на некоторых пунктах, по которым договоренность еще не достигнута — главным образом, на выводе из Чехословакии иностранных войск.

Ночь, когда я был наедине с самим собой, со своим прошлым, кончилась. Настал день, и опять я был с другими. Я попал в свою старую привычную роль; мой мозг работал как запрограммированная машина. В глубине души я должен был признать верным, по крайней мере, один основной аргумент: политическая ответственность за все случившееся лежала и на мне. Отказавшись искать выхода, я уклонился бы от своей ответственности. И я снова, со всеми четырьмя, принялся подробно обсуждать конкретные возможности политического решения.

В момент, когда я согласился подписать протокол вместе с другими, политическая перспектива для Чехословакии представлялась мне так:

Как бы ни исправлять текст протокола, он даст Москве явные преимущества, возможность систематически давить на наших реформистов. Но, с другой стороны, и у нас появится возможность защищать политику КПЧ. Исход будет зависеть не от текста протокола, а от соотношения сил — как в Чехословакии, так и в Москве. Возвратившись в Прагу, мы сохраним ключевые позиции в своих руках. Невиданная сила всенародного сопротивления оккупации еще больше ослабит положение промосковских групп в структуре власти сверху донизу, несмотря на то, что именно эти силы Москва пытается взять под защиту. Представители промосковских групп попадут на менее значительные должности. Но, самое главное, можно добиться, чтобы советские войска ушли из Чехословакии не позже декабря. Исключение можно сделать для небольшого количества воинских частей, размещения которых на территории Чехословакии Москва добивается уже два года. К тому времени необходимо будет снова созвать XIV съезд партии и избрать новый Центральный Комитет. Все это осуществить возможно, поскольку в Москве, — в связи с международным возмущением по поводу оккупации Чехословакии, — будут заинтересованы смягчить общественное мнение. Весьма вероятно также, что "ястребы" в московском политбюро несколько умерят свой пыл.

Все это, конечно, возможно, но не наверняка. Если же к концу года станет ясно, что события развиваются в другом направлении, что политикам-реформистам не удалось сохранить свои позиции, все еще останется другой выход: представители политики реформ смогут подать в отставку, назначив предварительно своих преемников. Тем самым будет предотвращен приход к власти "революционного рабочего-крестьянского правительства", то есть захват власти в Чехословакии советской агентурой. Москва должна бы согласиться на этот вариант: ведь тем самым она добилась бы отхода Дубчека от дел. Что же касается Биляка и Йиндры, то они успели настолько скомпрометировать московское руководство, что оно не будет особенно против "третьего варианта". Новые руководители Чехословакии будут несколько лет проводить политику "кадаризации", а затем настанет время для нового периода реформ. Но, чтобы это осуществилось, надо было сохранить состав КПЧ, который склоняется к линии реформ. Иначе верх в партии возьмут агенты Москвы.



Успех этого плана целиком зависел от сплоченности реформистов вокруг Дубчека. Мы обещали друг другу этой сплоченности не нарушать. У меня никогда не было особых иллюзий насчет отношений между людьми внутри партийного аппарата. Всего несколько лет назад товарищи посылали друг друга на смерть. В партии всегда были интриги, и прошла всего неделя с тех пор, как часть руководства была арестована с согласия своих коллег. Но тогда речь шла не об этих коллегах по руководству КПЧ, не о касте аппаратчиков-бюрократав. Соратники Дубчека столько пережили в те дни, что я внезапно поверил в возможность прочных отношений даже в политике, отношений, которые основывались бы на личном доверии, на чести и совести, на выполнении данных обещаний, на честном слове. Однако, не прошло и двух месяцев, как испарилась и эта иллюзия. Иллюзорным оказался и расчет, что Кремль захочет умиротворения. Напротив, Москва и на этот раз была заинтересована лишь в последовательном, — пусть и постепенном, — достижении поставленной цели.

Все-таки могут спросить, как это мы, все еще оставаясь в Кремле в положении заложников, в плену у гангстеров, могли всерьез надеяться, что с течением времени Москва сама согласится разрядить напряженность в Чехословакии, а не громить все неугодные ей политические силы? Ответа, по крайней мере, два: нам очень этого хотелось, а потому мы убеждали себя, что это возможно; кроме того, мы все еще веровали в коммунизм. Таково объяснение, но оправдания — ни политического, ни морального — нашему поведению нет.

Около полудня я заявил, что передумал и подпишу протокол вместе с остальными. Ольдржих Черник обнял меня, он был искренне рад. Радость его была эгоистична, — теперь уже никто не поступит иначе, уже нет никого, кто потом мог бы сказать: "А я не подписал!" Впрочем, радость оказалась преждевременной, ее вскоре омрачил Франтишек Кригель.

Мы еще накануне спрашивали, почему Кригеля нет среди нас. Встречаясь с отдельными членами руководства КПЧ, советская сторона придумывала всяческие отговорки. Она старалась изолировать Кригеля от остальных. Но когда дело дошло до подписания протокола, оттягивать дальше было невозможно. Кригеля привезли в Кремль. Первым с ним говорил в отдельной

комнате Смирковский. Потом, после обеда, Кригель присоединился к остальным. Унизительно было его положение, а наше — постыдно. Каковы бы ни были причины и отговорки, но мы обсуждали документ в отсутствие Кригеля, а потом поставили его перед готовым решением: подписать протокол необходимо. Франтишек Кригель категорически отказался. Конечно, все мы вначале вели себя также, а для него это было только начало, которое мы миновали еще вчера. Но Кригель остался при первом своем решении, настаивая, что не подпишет.

Мы старались его убедить. Людвик Свобода специально для Кригеля повторил свой вчерашний спектакль. Он кричал так, что Кригель не выдержал и оборвал его. Свобода замолчал. Помню, Кригель сказал: "Что они могут мне сделать? Сослать в Сибирь? Расстрелять? Я учел и такую возможность, но подписывать из-за этого не намерен". Политические мотивы компромисса он обсуждать отказывался. Он почти не слушал. Он даже не выглядел политиком. В тот момент это был человек, которому разбойники угрожают смертью, а в качестве выкупа требуют не денег, а честь, детей или жену. Такой человек говорит: "Нет, лучше убейте!" Я думаю, что Кригель, которого последние три дня все еще держали в изоляции как заключенного, решил, что его приговорили к смерти, и смирился с этим. Он не хотел в последние минуты замарать всю свою жизнь и поступить вразрез с совестью. Я говорю это не для того, чтобы преуменьшить значение поступка Кригеля. Просто я так понимаю причины этого поступка. В те минуты Кригель повел себя прежде всего как человек, а не как политик. И, как подтвердило будущее, его поведение гораздо точнее отвечало ситуации, чем наше: нас ведь действительно шантажировали гангстеры, но мы тешили себя иллюзией, будто мы все еще политики, с которыми ведут переговоры политики другой страны.

Франтишек Кригель сказал, что не намерен участвовать в переговорах с советским политбюро. Его увели снова. Но советская сторона еще некоторое время настаивала на привлечении Кригеля к переговорам. По всей видимости, режиссер преднамеренно хотел довести до открытого разрыва членов чехословацкой делегации с Кригелем в присутствии советского политбюро. Дубчек на это не согласился, переговоры проходили в отсутствие Кригеля. Для сохранения некоторой симметрии, не

участвовал в них и Йиндра. Наконец, чехословацкая делегация, — на этот раз вместе с Дубчеком, — разместилась вдоль одной стороны стола, а напротив расположилось советское политбюро.

Переговоры начались перед наступлением вечера, открыл заседание Брежнев. Не краснея, непринужденным тоном он декламировал фразы о товарищеских отношениях и общих интересах, из которых мы вот сейчас будем исходить, чтобы достичь соглашения о дальнейших действиях в создавшейся сложной и серьезной обстановке. Он говорил о том, с каким сожалением, с какой сердечной болью приняло советское руководство решение о военном вмешательстве. Но иначе оно поступить не могло, так как интересы социализма — превыше всего. Брежнев хвалил государственный ум Людвика Свободы, верного друга Советского Союза и героя Второй мировой войны; он объяснялся в любви к Чехословакии. Он сам умилялся своим речам.

По сценарию, с подобной же речью должен был выступить и представитель чехословацкой стороны. Потом делегации должны были перейти к обсуждению отдельных абзацев проекта протокола. Но Дубчек все еще чувствовал себя неважно. Перед самым заседанием врач сделал ему несколько уколов. Поэтому с ответным словом выступил Черник. Он говорил, в основном, по существу, избегая болтовни о товариществе и вечной дружбе. Черник очень осторожно защищал Программу действий КПЧ и, между строк, осудил военное вмешательство.

На это ответил кто-то из советского политбюро. Атмосфера снова накалялась. Не соглашаясь с чем-то в выступлении Черника, Брежнев его перебил. Настала напряженная пауза. Черник кончил, слова попросил Дубчек — или, кажется, он просто, без процедуральных церемоний начал говорить. Вначале он слегка заикался, не мог правильно произнести некоторые слова, но постепенно овладел собой и закончил плавно. Он говорил по-русски. Это была прочувственная, вдохновенная защита "процесса возрождения" в Чехословакии, которая местами переходила в полемику, в обвинение интервентов. Дубчек импровизировал. Он говорил, что думал, потому его выступление — и по содержанию, и по форме — произвело впечатление.

С ответом Дубчеку сразу же выступил Брежнев. На этот раз он тоже импровизировал. Кажется, это было единственное, по-

настоящему содержательное выступление с советской стороны за все время переговоров: Брежнев тоже говорил, что действительно думал. Он коротко и ясно ответил на три основных вопроса: что больше всего раздражало Москву в "Пражской весне", как понимает Москва суверенитет государства, что она считает самым важным в международной политике.

Брежнев больше не говорил ни о "контрреволюционных силах", ни об "интересах социализма". Он прямо и четко обвинил Дубчека в том, что тот проводил внутреннюю политику Чехословакии без предварительного одобрения и утверждения Брежнева, и, еще хуже, даже не считаясь с его указаниями и советами. "Я ведь тебе с самого начала хотел помочь бороться против Новотного, — говорил Брежнев Дубчеку, — и еще тогда, в январе, спрашивал тебя: не угрожают ли тебе люди Новотного? хочешь ли их сменить? хочешь заменить министра внутренних дел? или министра национальной обороны? кого хочешь еще сменить? Но ты говорил, что не хочешь, что все они — хорошие товарищи. А позже я вдруг узнаю, что ты назначил нового министра внутренних дел, нового министра обороны и других новых министров, что ты сменил секретарей Центрального Комитета".

"Еще в январе я сделал несколько замечаний к твоему выступлению, — продолжал Брежнев, — я обратил твое внимание на то, что некоторые формулировки неверны. А ты их оставил! Да разве можно так работать! Ведь у нас даже я, подготовив доклад, даю его всем членам политбюро, чтобы они высказались. Верно я говорю, товарищи? — задал Брежнев риторический вопрос, окинув взглядом политбюро, которое разместилось по обеим сторонам от него. Все закивали в знак согласия, забормотали, подтверждая сказанное начальником. — У нас — коллективное руководство, — продолжал Брежнев, — а это значит, что свои взгляды каждый должен подчинять взглядам других".

Брежнев был искренне возмущен тем, что Дубчек не оправдал его доверия, не согласовывал с Кремлем каждый свой шаг. "Я тебе верил, я тебя защищал перед другими, — упрекал он Дубчека. — Я говорил, что наш Саша все-таки хороший товарищ. А ты нас всех так подвел!" Во время подобных пассажей голос Брежнева дрожал от жалости к себе; он говорил, заикаясь, со слезами в голосе. Он выглядел обиженным племенным вождем, который считает само собой разумеющимся и единственно пра-

вильным, что его положение главы племени покоится на безоговорочном подчинении и послушании, что только его мнение и только его воля — последняя инстанция, ибо только он печется о благе всех. Сама идея, что действительность может или должна была бы быть иной, ему чужда. В независимом поведении он усматривал враждебность и измену.

И вот от этого смертного греха, — то есть из того, что в Праге не всегда спрашивали согласия Кремля, — рождались, по мнению Брежнева, все остальные грехи: бурное развитие "антисоциалистических тенденций"; печать публикует все, что хочет; возникают "контрреволюционные организации", а руководство КПЧ под давлением всех этих сил постоянно отступает. Если бы Дубчек все делал с согласия и по совету Брежнева, если бы он вычеркнул из своих выступлений слова, которые Брежнев рекомендовал вычеркнуть, если бы он назначал министров и секретарей, которых Брежнев бы утвердил, ничего подобного в Чехословакии бы не случилось. Такова, вкратце, была оценка Брежневым "Пражской весны".

Брежнев разъяснил Дубчеку, что Москве стало, наконец, ясно, что на его, Дубчека, руководство КПЧ положиться нельзя. И он сам, долго защищавший "нашего Сашу", вынужден был это признать. Потому что речь шла уже о совершенно ином и самом важном — об итогах Второй мировой войны.

Брежнев долго и подробно говорил о жертвах Советского Союза, о погибших солдатах и гражданах, об огромных материальных потерях и страданиях советских людей во время войны. Этой ценой обеспечил Советский Союз свою безопасность, гарантия которой — послевоенный раздел Европы, как, в частности, и то, что Чехословакия связана с СССР "на вечные времена". По мнению Брежнева, это логично и справедливо, ибо тысячи советских солдат отдали жизни за наше освобождение, и их могилы наш народ обязан уважать, а не оскорблять. Наши западные границы — это не просто наши границы, это — общие границы "лагеря социализма". Советское политбюро не имеет права рисковать достижениями последней войны, так как это было бы надругательством над памятью о жертвах, которые понес советский народ.

Брежнев признавал, что сейчас, после военной интервенции, обстановка в Чехословакии сложная: люди относятся к событи-

ям эмоционально. Он даже извинял партийное руководство Чехословакии во главе с Дубчеком, которое, по его мнению, продолжает неправильно оценивать положение. "Сегодня вам кажется невозможным согласиться с нашими действиями, — сказал Брежнев. — Но посмотрите на Гомулку. В 1956 году он, как и вы теперь, был против того, чтобы наши войска помогли Польше. Но если я сегодня заявлю, что отзываю из Польши советские войска, Гомулка сядет на самолет, прилетит сюда, чтобы просить меня этого не делать".

Брежнев даже и не пытался доказывать, будто "западные империалисты" угрожают ЧССР. Он не повторил ни одного из официальных ложных сообщений, которыми в то время кишела советская печать: что "западногерманские реваншисты" уже готовят военное нападение, что в Праге полно американских офицеров, которые выдают себя за туристов, и т.д. Логика Брежнева была проста: Мы, в Кремле, поняли, что на вас положиться нельзя. Во внутренней политике вы делаете, что хотите. При этом ваша страна лежит на территории, на которую во время Второй мировой войны ступила нога советского солдата. Мы заплатили за нее огромными жертвами и уходите не собираемся. Границы этой территории — и наши границы. А вы нас не слушаетесь. В этом мы видим угрозу нашим интересам. Память о погибших во Второй мировой войне, которые отдали свою жизнь и за вашу свободу, дает нам полное право послать к вам своих солдат. Мы завоевали право чувствовать себя в безопасности в наших общих границах. Не существенно, угрожает ли нам кто-либо. Речь идет о принципе, суть которого не меняется в зависимости от внешних обстоятельств. Он утверждён "на вечные времена".

Брежнев не только возмущался, он был удивлен: ведь это же так просто, как вы не понимаете? Таких слов, как суверенитет, национальная и государственная независимость, он даже не произносил. Он не повторял и дежурные фразы насчет "общих интересов социалистических стран". В его монологе содержалась одна простая идея: наши солдаты дошли до Эльбы, а потому сейчас там наша, советская граница.

"Результаты Второй мировой войны, — продолжал Брежнев, — для нас незыблемы, и мы будем их защищать даже ценой нового военного конфликта". Он совершенно недвусмысленно за-

явил, что военная интервенция в Чехословакии была бы принята даже в том случае, если бы из-за нее могла начаться Третья мировая война. К этому Брежнев добавил: "Впрочем, в настоящее время опасности военного конфликта нет. Я спросил президента Джонсона, признает ли сейчас американское правительство соглашения, подписанные в Ялте и Потсдаме. И 18 августа я получил ответ: в отношении Чехословакии и Румынии эти соглашения признаются полностью, что же касается Югославии, то об этом еще следует поговорить. Так что же, по вашему мнению, будет сделано в защиту Чехословакии? — Ничего. Война из-за вас не начнется. Выступят товарищи Тито и Чауше-ску, выступит товарищ Берлингуэр. Ну и что? Вы рассчитываете на коммунистическое движение Западной Европы, но оно уже пятьдесят лет никого не волнует!"

И это тоже было просто и ясно. Нам, коммунистам-реформистам, Брежнев преподал воистину ценный урок: мы, дураки, рассуждаем о какой-то модели социализма, пригодной для Европы, — в том числе и для Западной, — а он, реалист, знал, что вот уже пятьдесят лет это никого не волнует. А почему? Да потому, что граница социализма, то есть граница СССР, — пока все еще проходит по Эльбе. И американский президент с этим согласен, так что, вероятно, ничего не изменится еще лет пятьдесят.

А кто такой Берлингуэр? Разве у него есть танки? Разве может он изменить итоги Второй мировой войны?

Брежнев, вероятно, ожидал, что после такого ясного, реалистического разъяснения, Дубчек поймет ситуацию, и можно будет приступить к обсуждению протокола, которое завершится его торжественным подписанием. Но случилось другое. Дубчек стал возражать, — не помню уже, по какому конкретно вопросу. Он сказал что-то, что вывело Брежнева из себя. Он перебил Дубчека, начал кричать, лицо его стало красным. Наконец, Брежнев произнес сердито: "Все ваши предшествующие переговоры были бессмысленны. Все повторяется, как в Чиерне на Тиссе. Говорить больше не о чем". Брежнев заявил, что прекращает переговоры.

Брежнев, а за ним и все остальные члены советского политбюро, встали, собираясь уйти. В наступившей сумятице начал говорить Людвик Свобода. Он опять хотел утихомирить бурю. Брежнев остановился, выслушал, потом снова повернулся к выходу, добавив, что надо обсудить дальнейший порядок дейст-

вий. Он вышел в сопровождении всего советского "коллективного руководства", покидавшего зал гуськом.

Я и теперь не уверен, было ли это случайностью. И тогда у меня создалось впечатление, что нам показали заранее запланированный спектакль. Реакция Брежнева и его приказ прекратить переговоры совершенно не соответствовали обстановке. Я даже не запомнил слов Дубчека, которые послужили поводом брежневского гнева, а потому думаю, что Дубчек не сказал ничего такого, чего не говорил и раньше. Дальнейший ход переговоров тоже подтвердил, что это был обдуманый шаг. Советское политбюро готовило обстановку для утверждения протокола. Ему было нужно, чтобы чехословацкие реформисты повели себя осторожно и свели неприятные советской стороне замечания до минимума. Но независимо от действительных причин этой сцены, она вызвала в зале панику.

У Дубчека снова начался нервный припадок. Он дрожал, говорил захлебываясь и бессвязно. Появились врачи со шприцами. Дубчек отталкивал их, не хотел никаких уколов и вдруг — к всеобщему изумлению — заявил: "А я не подпишу! Пусть делают со мной, что хотят — не подпишу!"

К нему подбежало несколько человек (среди них были Черник, Свобода и Смрковский); перебивая друг друга, они говорили, что это невозможно, что сейчас уже нельзя ничего переменить. Я тоже тогда думал, что так закончить переговоры нельзя. К тому же я был уверен, что поведение Дубчека обуславливалось его психическим состоянием; что через некоторое время он передумает. Я говорил с ним несколько минут, высказал это свое мнение. Мы говорили с ним по очереди, старались на него повлиять, чтобы переговоры возобновились. Дубчек слушал, но не отвечал и позиции своей не менял. "Да разве ты не видишь, ведь они совершенно не понимают, что наделали", — ответил он мне. И повторил: "Я не подпишу!" То было мгновение правды. Быть может, если бы Дубчек участвовал в совещании чехословацкой делегации прошлой ночью и занял такую же позицию, это существенно изменило бы ход переговоров в Москве. Но тогда уже было поздно. В конце концов он разрешил сделать ему успокоительный укол, а после второго тура уговоров сдался.

Но еще до того, как Дубчек сдался, обе стороны пытались возобновить переговоры. Свобода, Черник и другие реформи-

сты, а кроме них Биляк и Якеш, убежали из зала в какие-то комнаты, где они встречались с Суловым, Пономаревым и другими. Наконец, Свобода был принят Брежневым, и они о чем-то договорились. Перерыв длился около часа. Когда переговоры возобновились, был уже поздний вечер.

Дальнейший их ход уже не был столь драматичен. Абзац за абзацем обсуждался текст протокола. Советская сторона стала уступчивей. Не могу припомнить точно, какие именно поправки были внесены в протокол на этом последнем этапе. Однако в окончательном тексте остались два важных пункта. Во-первых, там говорилось, что после их "временного" пребывания войска уйдут, хотя отход этот был обусловлен прогрессом "нормализации". Кроме того, в протоколе говорилось, что советская сторона поддерживает политическую линию январского и майского пленумов КПЧ.

По этому пункту опять разгорелся диспут. Спор возник по поводу апрельского пленума, на котором была одобрена Программа действий КПЧ. Брежнев, — как и в Братиславе,\* — возражал, якобы по соображениям стилистики, чтобы между словами "январский" и "майский" пленумы стояло тире. При такой формулировке включался и апрельский пленум. Наконец, Брежнев заявил откровенно: В программе действий есть некоторые положения, которые советское политбюро не считает правильными, а потому и не может согласиться с программой в целом. В конце концов, и нам, мол, должно быть ясно, что при создавшейся обстановке программу действий надо исправить. При этом, однако, советское политбюро полностью поддерживало резолюцию майского пленума, которая не только признает программу действий, но и называет ее основной линией партии. Правда, в этой резолюции говорится о враждебных социализму силах. На этом обсуждение закончилось.

\* В конце июля 1968 года в г. Чиерна на Тиссе состоялась встреча политбюро КПЧ и политбюро КПСС. На этой встрече было принято решение созвать совещание в Братиславе (в начале августа 1968 года), на котором будет разработано совместное коммюнике о положении в Чехословакии. В совещании в Братиславе участвовали представители всех стран — членов Варшавского договора, кроме Румынии. Эти же страны, представленные в Братиславе, через две недели после совещания приняли участие в оккупации Чехословакии.

К полуночи все было готово, настал момент подписания. Неожиданно распахнулись двери и в зал ворвалось с десятков фотографов и операторов. Тут же, как по приказу, все члены советского политбюро встали и, наклоняясь через стол, пытались обнять сидевших напротив членов чехословацкой делегации. Это напоминало театр абсурда: вспышки магния и протянутые над столом десятки рук членов советского политбюро. Казалось, какое-то фантастическое растение-мясоед хватает нас своими липкими щупальцами. Я не встал, не сделал встречного движения. Я оттолкнулся от ножки стола, и мое кресло, скользя по натертому полу, отъехало к стене. Я оказался возле посла Коуцко, сидевшего вместе с теми, кто не поместился за столом. Глаза Коуцкого широко раскрылись от испуга. Он прошептал: "Ты с ума сошел!" Я кивнул головой в знак согласия, добавив, что обниматься с ними не могу и не хочу. Коллективное объятие у стола кончилось. Операторы и фотографы успели его увековечить.

Потом запечатлели главных представителей обеих сторон в момент подписания протокола. После этого так же неожиданно, как их впустили в зал, фотографов выпроводили, а двери закрыли. Я слышал, как Подгорный спросил: "А разве товарищ Млинарж не подпишет?" Значит, он заметил, как я увернулся от объятий. Да он и не мог не заметить, — ведь я сидел напротив него, ко мне он тянул руки. Начали оглядываться и остальные: что, собственно, со мной происходит? Я ответил, что подпишу, встал и собственноручно поставил свою фамилию под смертным приговором, вынесенным демократической реформе Чехословакии.

Как после каждого напряженного момента, — трагичного ли, или комичного, — наступила разрядка. Но продолжалась она недолго. Атмосфера снова накалилась, когда возник спор из-за Франтишека Кригеля. Этот эпизод напоминает уголовный роман из гангстерской жизни, хотя случился он в Кремле, после переговоров, которые, как утверждалось в коммюнике, проходили "в товарищеской и дружеской обстановке".

Когда обсуждались технические вопросы, связанные с отлетом в Прагу, кто-то заметил, что Кригеля нужно привезти в Кремль, так как он должен улететь вместе со всей делегацией. На это Брежнев ответил, что, возможно, было бы лучше, если бы Кригель не улетел в Прагу с нами. "Оставьте его пока здесь, — сказал Брежнев. — Он ведь не подписал протокола, и вам бу-

дет с ним неловко". Дубчек, — и, кажется, Свобода, — решительно сказали, что делегация вернется в Прагу в полном составе. Без Кригеля мы не уедем. Брежнев продолжал настаивать. Он говорил, что Кригель будет саботировать выполнение протокола и, ссылаясь на то, что он сам протокол не подписал, будет строить оппозицию силам, которые "стремятся к консолидации".

Думаю, что за этим скрывался какой-то замысел. Все мы вдруг вспомнили, что Кригель до сих пор в заключении, что он всего лишь заложник, а не член делегации, как мы. И сам Брежнев говорил о нем, как о заключенном, который к нам вроде и отношения не имеет. Людвик Свобода сказал, что по приезде в Прагу Франтишек Кригель и его жена будут в Ланах.<sup>8</sup> Брежнев, вероятно, подумал, что Свобода обещает посадить Кригеля в какую-то роскошную тюрьму. "Но он же может бежать! — сказал он. — Кто из вас может за него поручиться?"

Им нужен был не выкуп за заложника! Главарь банды попросту требовал zakład, — как в детективе. Шпачек, Шимон и я, не сговариваясь, сказали, что ручаемся за Кригеля. Но этого оказалось недостаточно. Началась закулисная торговля. Дубчек, Свобода, Черник и Смирковский вместе с руководством советского политбюро ушли в соседнюю комнату, и там, за закрытыми дверями, они договорились. Если не ошибаюсь, и Якеш, используя свои связи, — вероятно, в органах, — пытался добиться освобождения Кригеля. Соглашение было постыдное, для Кригеля — унижительное. Пленника доставят прямо на аэродром, так как в Кремле ему не место.

Кремлевские руководители предложили собраться перед нашим отлетом — на этот раз, не формально, по-дружески. Косыгин, которому развеселое поведение явно не шло, принялся шутить, вспоминая старый русский обычай, согласно которому гости не могут уехать, не присев перед дорогой, не выпив "посошка". Когда-то я читал про обычай одного из монгольских племен. Там особо милые сердцу пленники приковывались цепями к юртам: а в их босые ноги вонзали конский волос, который постепенно врастал в кожу. Этот волос как будто бы и не мешал пленнику — если, конечно, он не вставал на ноги, не пытался бежать. Обычай задерживать милых гостей, о котором говорил Косыгин, был, конечно, гуманнее. Мы провели с хозяевами еще около часа.

Все разбились на группы — по два-три человека в каждой. Ко мне подошел Косыгин и, после нескольких ни к чему не обя-

зывающих слов, спросил, считаю ли я реальным осуществление протокола, какие трудности могут встретиться и как я смотрю на некоторые персональные проблемы. По ходу разговора он еще и еще возвращался к вопросам кадров. Я догадался, что он меня прощупывает. Этот способ надежнее и проще политико-идеологических дебатов. Косыгину важно было не то, что я думаю о "социализме с человеческим лицом", а то, что я думаю о Чернике, Гусаке или Йиндре.

Я ответил откровенно, что если московское политбюро и дальше будет ориентироваться на людей, из которых в августе предполагалось сформировать "революционное правительство", — в их числе я назвал Биляка и Йиндру, — это кончится катастрофой. "Ну, эти...", — произнес Косыгин и презрительно махнул рукой. И тут же отозвался с похвалой о Гусаке. Вероятно, он хотел намекнуть, на кого они будут ориентироваться. Не возражал Косыгин и против того, что главное — воспрепятствовать победе крайних тенденций. Я ему сказал, что отставка Кригеля, Цисаржа, Павела, Гайека и других возможна лишь при том условии, что одновременно уйдут в отставку те, кто полностью скомпрометировал себя в августе. Тогда мне показалось, что Косыгин, как и мы, заинтересован в быстрой разрядке напряженности в Чехословакии.

На следующий день, уже в Праге, Дубчек сообщил нам, что в качестве условия сохранения добрых отношений с СССР в будущем Брежнев потребовал оставить за Биляком и Йиндрой их партийные должности.

Брежнев и остальные члены советского политбюро поехали с нами на аэродром. Это были официальные проводы, снова с фотографами и операторами. В ожидавшем нас самолете находился Франтишек Кригель. 27 августа 1968 года, около двух часов утра по московскому времени наш самолет поднялся в воздух. Мы снова молчали, но на этот раз причина была другая. Каждый думал о том, как встретят "московский протокол" дома. И думаю, что предвидения были у всех далеко не розовыми.

Роли, которые нужно было сыграть после прилета, распределили заранее. Первым публично выступит Свобода, за ним — Дубчек. Утром Черник встретится с правительством, а Смирковский — с парламентом. Дубчек, сразу после прибытия в Прагу, обсудит положение с политбюро, избранным на съезде в Высоча-

нах. А так как после обеда он должен выступить перед народом, нужно подготовить для него текст выступления. И, как и прежде, до оккупации, это задание поручается Млинаржу и Шимону. Мы сидим в самолете и пишем. Это наши последние спокойные часы. Думаю, что эта речь Дубчека была самой значительной из всех, когда-либо мной написанных. Дубчек немного поправил и дополнил ее — сначала на бумаге, а потом и по ходу выступления. Эта речь Дубчека стала самой известной. Огромную политическую роль сыграли тогда не только слова, но и сдерживаемые Дубчеком слезы. Этой речью Дубчеку удалось невозможное: народ опять поверил, что еще не все потеряно, что еще жива надежда и что Дубчек осуществит ее.

## П Р И М Е Ч А Н И Я

<sup>1</sup> Речь идет о 14 чрезвычайном съезде КПЧ. История его такова: 1 июня 1968 года Пленарное заседание ЦК КПЧ постановило созвать на 9 сентября 1968 года Чрезвычайный 14-й съезд. (Очередной съезд должен был состояться в 1970 г.) На этом чрезвычайном съезде предполагалось определить политическую линию партии и избрать новый Центральный комитет. Созыв чрезвычайного съезда был одним из важнейших политических решений, принятых в период "Пражской весны". В июне и июле были проведены районные и областные партконференции, на которых избрали делегатов на 14-й съезд. На этих же конференциях проходило обсуждение проекта нового устава партии. Не было сомнения, что съезд одобрит реформы 1968 года. И для того, чтобы воспрепятствовать этому съезду, оккупация произошла в конце августа 1968 года. После вторжения в Прагу представители советских вооруженных сил арестовали руководителей чехословацкого государства и КПЧ: Дубчека — генерального секретаря партии, Черника — председателя правительства, Смирковского — председателя Чехословацкого национального собрания (парламента); Кригеля — председателя Национального фронта, и других. Их увезли в СССР и пытались создать в Чехословакии марионеточное, т.н. рабоче-крестьянское правительство и "революционный трибунал".

После оккупации чехословацкое радио передало сообщение, что делегаты съезда должны собраться в Праге. Делегаты приезжали в Прагу, как могли, так как общественный транспорт в то время почти не действовал. Место работы съезда было засекречено. Делегаты приходили на пражские заводы, и рабочие отводили их в помещение съезда, в одном из крупнейших пражских заводов в Высочанах (Высочаны — это промышленный район Праги). Состоялся съезд 22 августа 1968 года. В работе съезда участвовало 1.290 человек, то есть более двух третей избранных на 14-й съезд делегатов, так что в соответствии с Уставом партии его решения были законными. Значение 14-го съезда исключительно велико, в первую очередь потому, что он воспрепятствовал осуществлению планов советского руководства и фактически спас жизнь арестованным и увезенным в Москву руководителям Чехословакии.

<sup>2</sup> Командование советской армии попыталось создать в Чехословакии революционное рабоче-крестьянское правительство, которое одобрило бы оккупацию страны и от имени которого действовал бы революционный трибунал. Эта попытка провалилась, так как в то время оккупантам не удалось найти достаточное количество людей, готовых в такое правительство войти.

<sup>3</sup> Чиерна на Тиссе — чехословацкий городок на границе с Западной Украиной. С 29 июля по 1 августа 1968 года в этом городке состоялась

встреча между политбюро КПЧ и политбюро КПСС. На ней обсуждалось внутривнутриполитическое положение Чехословакии и отношения между КПЧ и КПСС.

<sup>4</sup> "Первая Чехословацкая республика" — так называется независимое чехословацкое государство, созданное 28 октября 1918 года после распада Австро-Венгерской империи. Позже, в 1938 году, вследствие Мюнхенского соглашения между фашистской Германией и Италией — с одной стороны, и Францией и Англией — с другой, от Чехословакии были отрезаны пограничные (судетские) области. В мюнхенских переговорах представители Чехословакии не участвовали. Мюнхенский диктат положил конец Первой республике, после чего начался короткий период т.н. Второй республики, продолжавшийся до 15 марта 1939 года — дня вторжения немецких войск на территорию Чехии и Моравии. Словакия же в то время образовала самостоятельное протекторское фашистское государство.

<sup>5</sup> Т.Г. Масарик, 1850-1937, философ, журналист, политик — депутат австро-венгерского парламента. Автор многих книг, в том числе книги "Россия и Европа". Во время Первой мировой войны стоял во главе движения за образование самостоятельного чехословацкого государства, после создания этого государства стал его первым президентом.

<sup>6</sup> Эмиль Гаха (1872-1945) был избран президентом чехословацкого государства 30 ноября 1938 года — после ухода в отставку президента Бенеша. В ночь с 14 на 15 марта 1939 года Гаха (в то время очень большой человек) подписал в Берлине документ о создании на территории Чехии и Моравии немецкого протектората. До конца Второй мировой войны он был президентом Протектората. После окончания войны Гаха был арестован. Он умер до суда.

<sup>7</sup> В феврале 1948 года КПЧ захватила монопольную власть в стране. Чехословацкое демократическое плюралистическое государство перестало существовать. С того момента в Чехословакии начинается строительство социализма "по советскому образцу".

<sup>8</sup> Ланы — замок неподалеку от Праги, место отдыха чехословацких президентов. В Ланах похоронен первый президент Чехословакии Т.Г. Масарик.